

Часть первая

НЕВИДИМАЯ КНИГА

Предисловие

С тревожным чувством берусь я за перо. Кого интересуют признания литературного неудачника? Что поучительного в его исповеди?

Да и жизнь моя лишена внешнего трагизма. Я абсолютно здоров. У меня есть любящая родня. Мне всегда готовы предоставить работу, которая обеспечит нормальное биологическое существование.

Мало того, я обладаю преимуществами. Мне без труда удастся располагать к себе людей. Я совершил десятки поступков, уголовно наказуемых и оставшихся безнаказанными.

Я дважды был женат, и оба раза счастливо.

Наконец, у меня есть собака. А это уже излишество.

Тогда почему же я ощущаю себя на грани физической катастрофы? Откуда у меня чувство безнадёжной жизненной непригодности? В чем причина моей тоски?

Я хочу в этом разобраться. Постоянно думаю об этом. Мечтаю и надеюсь вызвать призрак счастья...

Мне жаль, что прозвучало это слово. Ведь представления, которые оно рождает, безграничны до нуля.

Я знал человека, всерьез утверждавшего, что он будет абсолютно счастлив, если жилконтора заменит ему фановую трубу...

Суетное чувство тревожит меня. Ага, подумают, возомнил себя непризнанным гением!

Да нет же! В этом-то и дело, что нет! Я выслушал сотни, тысячи откликов на мои рассказы. И никогда, ни в единой, самой убогой, самой фантастической петербургской компании меня не объявляли гением. Даже когда объявляли таковыми Горецкого и Харитоненко.

(Поясню. Горецкий — автор романа, представляющего собой девять листов засвеченной фотобумаги. Главное же действующее лицо наиболее зрелого романа Харитоненко — презерватив.)

Тринадцать лет назад я взялся за перо. Написал роман, семь повестей и четыреста коротких вещей. (На ощупь — побольше, чем Гоголь!) Я убежден, что мы с Гоголем обладаем равными авторскими правами. (Обязанности разные.) Как минимум, одним неотъемлемым правом. Правом обнаруживать написанное. То есть правом бессмертия или неудачи.

За что же моя рядовая, честная, единственная склонность подавляется бесчисленными органами, лицами, институтами великого государства?!

Я должен это понять.

Не буду утруждать себя композицией. Сумбурно, длинно и невнятно попытаюсь изложить свою

«творческую» биографию. Это будут приключения моих рукописей. Портреты знакомых. Документы...

Как же назвать мне все это — «Досье»? «Записки одного литератора»? «Сочинение на вольную тему»?

Разве это важно? Книга-то невидимая...

За окном — ленинградские крыши, антенны, бледное небо. Катя готовит уроки. Фокстерьер Глафира, похожая на березовую чурочку, сидит у ее ног и думает обо мне.

А передо мной лист бумаги. И я пересекаю эту белую заснеженную равнину — один.

Лист бумаги — счастье и проклятие! Лист бумаги — наказание мое...

Предисловие, однако, затянулось. Начнем. Начнем хотя бы с этого.

Первый критик

До революции Агния Францевна Мау была придворным венерологом. Прошло шестьдесят лет. Навсегда сохранила Агния Францевна горделивый дворцовый апломб и прямоту клинициста. Это Мау сказала нашему квартуполномоченному полковнику Тихомирову, отдавившему лапу ее болонке:

— Вы — страшное говно, мон колонель, не обессудьте!..

Тихомиров жил напротив, загнанный в отвратительную коммуналку своим партийным бескорытием. Он добивался власти и ненавидел Мау за ее аристократическое происхождение. (У самого Тихомирова происхождения не было вообще. Его породили директивы.)

— Ведьма! — грохотал он. — Фашистка! Какать в одном поле не сяду!..

Старуха поднимала голову так резко, что взлетал ее крошечный золотой медальон:

— Неужели какать рядом с вами такая уж большая честь?!

Тусклые перья на ее шляпе гневно вздрагивали...

Для Тихомирова я был чересчур изыскан. Для Мау — безнадежно вульгарен. Но против Агнии Францевны у меня было сильное оружие — вежливость. А Тихомирова вежливость насто-раживала. Он знал, что вежливость маскирует пороки.

И вот однажды я беседовал по коммунальному телефону. Беседа эта страшно раздражала Тихомирова чрезмерным умственным избытком. Раз десять Тихомиров проследовал узкой коммунальной трассой. Трижды ходил в уборную. Заваривал чай. До полярного сияния начистил лишённые индивидуальности ботинки. Даже зачем-то возил свой мопед на кухню и обратно.

А я все говорил. Я говорил, что Лев Толстой, по сути дела, — обыватель. Что Достоевский сродни постимпрессионизму. Что апперцепция у Бальзака — неорганична. Что Люда Федосеенко сделала аборт. Что американской прозе не хватает космополитического фермента...

И Тихомиров не выдержал.

Умышленно задев меня пологим животом, он рывкнул:

— Писатель! Смотрите-ка — писатель! Да это же писатель!.. Расстреливать надо таких писателей!..

Знал бы я тогда, что этот вопль расслабленного умственной перегрузкой квартуполномоченного на долгие годы определит мою жизнь.

«...Расстреливать надо таких писателей!..»

Кажется, я допускаю ошибку. Необходима какая-то последовательность. Например, хронологическая.

Первый литературный импульс — вот с чего я начну.

Это было в октябре 1941 года. Башкирия, Уфа, эвакуация, мне — три недели.

Когда-то я записал этот случай...

Судьба

Мой отец был режиссером драматического театра. Мать была в этом театре актрисой. Война не разлучила их. Они расстались значительно позже, когда все было хорошо...

Я родился в эвакуации, четвертого октября. Прошло три недели. Мать шла с коляской по бульвару. И тут ее остановил незнакомый человек.

Мать говорила, что его лицо было некрасивым и грустным. А главное — совсем простым, как у деревенского мужика. Я думаю, оно было еще и значительным. Недаром мама помнила его всю жизнь.

Штатский незнакомец казался вполне здоровым.

— Простите, — решительно и смущенно выговорил он, — но я бы хотел ущипнуть этого мальчишку.

Мама возмутилась.

— Новости, — сказала она, — так вы и меня захотите ущипнуть.

— Вряд ли, — успокоил ее незнакомец.

Затем добавил:

— Хотя еще минуту назад я бы задумался, прежде чем ответить...

— Идет война, — заметила мама уже не так резко, — священная война! Настоящие мужчины гибнут на передовой. А некоторые гуляют по бульвару и задают странные вопросы.

— Да, — печально согласился незнакомец, — война идет. Она идет в душе каждого из нас. Прощайте.

Затем добавил:

— Вы ранили мое сердце...

Прошло тридцать два года. И вот я читаю статью об Андрее Платонове. Оказывается, Платонов жил в Уфе. Правда, очень недолго. Весь октябрь сорок первого года. И еще — у него там случилась беда. Пропал чемодан со всеми рукописями.

Человек, который хотел ущипнуть меня, был Андреем Платоновым.

Я поведал об этой встрече друзьям. Унылые люди сказали, что это мог быть и не Андрей Платонов. Мало ли загадочных типов шатается по бульварам?..

Какая чепуха! В описанной истории даже я — фигура несомненная! Так что же говорить о Платонове?!

Я часто думаю про вора, который украл чемодан с рукописями. Вор, наверное, обрадовался, завидев чемодан Платонова. Он думал, там лежит

фляга спирта, шевиотовый мантиль и большой кусок говядины. То, что затем обнаружилось, было крепче спирта, ценнее шевиотового мантиля и дороже всей говядины нашей планеты. Просто вор этого не знал. Видно, он родился хроническим неудачником. Хотел разбогатеть, а стал владельцем пустого чемодана. Что может быть плачевнее?

Мазурик, должно быть, швырнул рукопись в канаву, где она и сгинула. Рукопись, лежащая в канаве или в ящике стола, неотличима от прошлогодних газет.

Я не думаю, чтобы Андрей Платонов безмерно сожалел об утраченной рукописи. В этих случаях настоящие писатели рассуждают так:

«Даже хорошо, что у меня пропали старые рукописи, ведь они были так несовершенны. Теперь я вынужден переписать рассказы заново, и они станут лучше...»

Было ли все так на самом деле? Да разве это важно?! Думаю, что обойдемся без нотариуса. Моя душа требует этой встречи. Не зря же я с детства мечтал о литературе. И вот пытаюсь найти слова...

Начало

Я вынужден сообщать какие-то детали моей биографии. Иначе многое останется неясным. Сделаю это коротко, пунктиром.

Толстый застенчивый мальчик... Бедность... Мать самокритично бросила театр и работает корректором...

Школа... Дружба с Алешей Лаврентьевым, за которым приезжает «форд»... Алеша шалит, мне поручено воспитывать его... Тогда меня возьмут на дачу... Я становлюсь маленьким губернатором... Я умнее и больше читал... Я знаю, как угодить взрослым...

Черные дворы... Зарождающаяся тяга к плембсу... Мечты о силе и бесстрашии... Похороны дохлой кошки за сараями... Моя надгробная речь, вызвавшая слезы Жанны, дочери электромонтера... Я умею говорить, рассказывать...

Бесконечные двойки... Равнодушие к точным наукам... Совместное обучение... Девочки... Алла Горшкова... Мой длинный язык... Неуклюжие эпиграммы... Тяжкое бремя сексуальной невинности...

1952 год. Я отсылаю в газету «Ленинские искры» четыре стихотворения. Одно, конечно, про Сталина. Три — про животных...

Первые рассказы. Они публикуются в детском журнале «Костер». Напоминают худшие вещи средних профессионалов...

С поэзией кончено навсегда. С невинностью — тоже...

Аттестат зрелости... Производственный стаж... Типография имени Володарского... Сигареты, вино и мужские разговоры... Растущая тяга к плембсу. (То есть буквально ни одного интеллигентного приятеля.)

Университет имени Жданова. (Звучит не хуже, чем «Университет имени Аль Капоне»...) Филфак... Прогулы... Студенческие литературные упражнения...

Бесконечные переэкзаменовки... Несчастливая любовь, окончившаяся женитьбой... Знакомство с молодыми ленинградскими поэтами — Рейном, Найманом, Бродским... Наиболее популярный человек той эпохи — Сергей Вольф.

Дедушка русской словесности

Нас познакомили в ресторане. Вольф напоминал американского безработного с плаката. Джинсы, свитер, мягкий клетчатый пиджак.

Он пил водку. Я пригласил его в фойе и невнятно объяснил без свидетелей. Я хотел, чтобы Вольф прочитал мои рассказы.

Вольф был нетерпелив. Я лишь позднее сообразил — водка нагревается.

— Любимые писатели? — коротко спросил Вольф.

Я назвал Хемингуэя, Бёлля, русских классиков...

— Жаль, — произнес он задумчиво, — жаль... Очень жаль...

Попрощался и ушел.

Я был несколько озадачен. Женя Рейн потом объяснил мне:

— Назвали бы Вольфа. Он бы вас угостил. Настоящие писатели интересуются только собой...

Как всегда, Рейн был прав...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

(Из записных книжек)

Как-то сидел у меня Веселов, бывший летчик. Темпераментно рассказывал об авиации. Он говорил:

«Самолеты преодолевают верхнюю облачность... Жаворонки попадают в сопла... Глохнут моторы... Самолеты падают... Люди разбиваются... Жаворонки попадают в сопла... Гибнут люди...»

А напротив сидел Женя Рейн.

«Самолеты разбиваются, — кричал Веселов, — моторы глохнут... В сопла попадают жаворонки... Гибнут люди... Гибнут люди...»

Тогда Рейн обиженно крикнул:

«А жаворонки что — выживают?!»

Да и с Вольфом у меня хорошие отношения. О нем есть такая запись:

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Вольф с Длуголенским отправились ловить рыбу. Вольф поймал огромного судака. Вручил его хозяйке и говорит:

«Поджарьте этого судака, и будем вместе ужинать».

Так и сделали. Поужинали, выпили. Вольф и Длуголенский ушли в свой чулан. Хмурый Вольф сказал Длуголенскому:

«У тебя есть карандаш и бумага?»

«Есть».

«Давай сюда».

Вольф порисовал минуты две и говорит: «Вот суки! Они подали не всего судака! Смотри. Этот подъем был. И этот спуск был. А вот этого перевала — не было. Явный пробел в траектории судака...»

Дальше

1960 год. Новый творческий подъем. Рассказы, пошлые до крайности. Тема — одиночество. Неизменный антураж — вечеринка. Вот примерный образчик фактуры:

«— А ты славный малый!

— Правда?

— Да, ты славный малый!

— Я разный.

— Нет, ты славный малый. Просто замечательный.

— Ты меня любишь?

— Нет...»

Выпирающие ребра подтекста. Хемингуэй как идеал литературный и человеческий...

Недолгие занятия боксом... Развод, отмеченный трехдневной пьянкой... Безделье... Повестка из военкомата...

Стоп! Я хотел уже перейти к решающему этапу своей литературной биографии. И вот перечитал написанное. Что-то важное скомкано, забыто. Упущенные факты тормозят мои автобиографические дроги.

Я уже говорил, что познакомился с Бродским. Вытеснив Хемингуэя, он навсегда стал моим литературным кумиром.

Нас познакомила моя бывшая жена Ася. До этого она не раз говорила:

— Есть люди, перед которыми стоят великие цели!

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Шли мы откуда-то с Бродским. Был поздний вечер. Спустились в метро — закрыто. Чугунная решетка от земли до потолка. А за решеткой прогуливается милиционер.

Иосиф подошел ближе. Затем довольно громко крикнул:

«Э!»

Милиционер насторожился, обернулся.

«Дивная картина, — сказал ему Бродский, — впервые наблюдаю мента за решеткой...»

Я познакомился с Бродским, Найманом, Рейном. В дальнейшем узнал их лучше. То есть в послеармейские годы, когда мы несколько сблизилась. До этого я не мог по заслугам оценить их творческое и личное своеобразие. Более того, мое отношение к этой группе поэтов имело налет скептицизма. Помимо литературы я жил интересами спорта, футбола. Нравился барышням из технических вузов. Литература пока не стала моим единственным занятием. Я уважал Евтушенко.

Почему же так важно упомянуть эту группу? Я уже тогда знал о существовании неофициальной литературы. О существовании так называемой второй культурной действительности. Той самой действительности, которая через несколько лет превратится в единственную реальность...

Повестка из военкомата. За три месяца до этого я покинул университет.

В дальнейшем я говорил о причинах ухода — туманно. Загадочно касался неких политических мотивов.

На самом деле все было проще. Раза четыре я сдавал экзамен по немецкому языку. И каждый раз проваливался.

Языка я не знал совершенно. Ни единого слова. Кроме имен вождей мирового пролетариата. И наконец меня выгнали. Я же, как водится, намекал, что страдаю за правду.

Затем меня призвали в армию. И я попал в конвойную охрану. Очевидно, мне суждено было побывать в аду...

Зона

Я не буду рассказывать, что такое ВОХРА. Что такое нынешний Устьвымлаг. Наиболее драматические ситуации отражены в моей рукописи «Зона». По ней, думаю, можно судить о том, как я жил эти годы. Два экземпляра «Зоны» у меня сохранились. Еще один благополучно переправлен в Нью-Йорк. И последний, четвертый, находится в эстонском КГБ. (Но об этом — позже.)

«Зона» — мемуары надзирателя конвойной охраны, цикл тюремных рассказов.

Как видите, начал я с бытописания изнанки жизни. Дебют вполне естественный (Бабель, Горький, Хемингуэй). Экзотичность пережитого материала — важный литературный стимул. Хотя наиболее чудовищные, эпатазирующие подробности лагерной жизни я, как говорится, опустил. Вос-

производить их не хотелось. Это выглядело бы спекулятивно. Эффект заключался бы не в художественной ткани произведения, а в самом материале. Так что я игнорировал крайности, пытаюсь держаться в обыденных эстетических рамках.

В чем основные идеи «Зоны»?

Мировая «каторжная» литература знает две системы идейных представлений. Два нравственных аспекта.

1. Каторжник — жертва, герой, благородная многострадальная фигура. Соответственно распределяются моральные ориентиры. То есть представители режима — сила негативная, отрицательная.

2. Каторжник — монстр, злодей. Соответственно — все наоборот. Каратель, полицейский, сыщик, милиционер — фигуры благородные и героические.

Я же с удивлением обнаружил нечто третье. Полицейские и воры чрезвычайно напоминают друг друга. Заключенные особого режима и лагерные надзиратели безумно похожи. Язык, образ мыслей, фольклор, эстетические каноны, нравственные установки. Таков результат обоюдного влияния. По обе стороны колючей проволоки — единый и жестокий мир. Это я и попытался выразить.

И еще одну существенную черту усматриваю я в моем лагерном наследии. Сравнительно новый по отношению к мировой литературе штрих.

Каторга неизменно изображалась с позиций жертвы. Каторга же, увы, и пополняла ряды литераторов. Лагерная охрана не породила видных

мастеров слова. Так что мои «Записки охранника» — своеобразная новинка.

Короче, осенью 64-го года я появился в Ленинграде. В тощем рюкзаке лежала «Зона». Перспективы были самые неясные.

Начинался важнейший этап моей жизни...

Этап

Я встретился с бывшими приятелями. Общаться нам стало трудно. Возник какой-то психологический барьер. Друзья кончали университет, серьезно занимались филологией. Подхваченные теплым ветром начала шестидесятых годов, они интеллектуально расцвели. А я безнадежно отстал. Я напоминал фронтовика, который вернулся и обнаружил, что его тыловые друзья преуспели. Мои ордена позвякивали, как шутовские бубенцы.

Я побывал на студенческих вечеринках. Рассказывал кошмарные лагерные истории. Меня деликатно слушали и возвращались к актуальным филологическим темам: Пруст, Берроуз, Набоков...

Все это казалось мне удивительно пресным. Я был одержим героическими лагерными воспоминаниями. Я произносил тосты в честь умерщвленных надзирателей и конвоиров. Я рассказывал о таких ужасах, которые в своей чрезмерности были лишены правдоподобия. Я всем надоел.

Мне понятно, за что высмеивал Тургенев недавнего каторжанина Достоевского.